

КОРИДОР

... тут Булат открыл глаза, проснувшись от громкого взрыва рядом: ударной волной его кинуло в заснеженный подлесок, и комья мёрзлой земли посыпались ему в голову... из кустов строчили автоматы... Булат быстро подполз к своему месту — там оставался упавший *дегтярёв* — и, едва успев схватить его, увидел, как из-за деревьев вышли четыре здоровенных немца... Булат поднял оружие... щёчки пулемёта были засыпаны песком... *nicht schießen! nicht schießen!* - завопили немцы и ринулись в ближайшую балку... Булат сорвался, подбежал к краю овражка, в который скатился неприятель, и кинул им вслед последнюю гранату! грохнул взрыв... три немца остались лежать, один резво побежал вперёд... после боя взводный Черемцов спросил Булата: Ты, что ли, гранату кинул? — Ну я, — отвечал Булат, — у меня щёчки *дегтярёва* засыпало песком, нельзя было стрелять... Слабак ты, — сказал Черемцов, — надо было поближе подпустить да вместе с ними подорваться! — Ну дурак, — пробормотал Булат, — с какого хера мне подрываться-то? — А тогда ни один бы не свалил, к бабке не ходи! — не унимался Черемцов, — ты головой думай, лейтенант, — парировал Булат, — ведь я живой, поди, полезнее буду на войне, скока мне осталось-то ещё... всё польза однако ж; этот лейтенант был не в себе, под Брестом у него в конце июня семью огнёмётами пожгли, а сам он в то время возле Орши в медсанбат попал, где ему хотели ногу отобрать: вот лежит он под ножом да молится, хотя комсомолец и даже кандидат в ВКПб, но всё ж таки ему свезло: врач попался понимающий, хороший такой врач, Абрам Самойлович, — рискнул и сохранил ногу... прооперировал, дав ему в качестве наркоза стакан еле разбавленного спирта... только когда очнулся лейтенант, ему и принесли письмишко, — соседи отписали — так он и бинты свои присохшие срывал, и головой о стенку бился, и даже застрелить себя просил... но доктор пришёл и говорит: чё колотишься, как баба на сносях? — он и доктора хотел убить, а доктор ему снова: это самое простое — меня убей, себя убей, а кто же отомстит? вот он и закаменел: ни своих, ни чужих с тех пор не признавал и никого даже не жалел, в самое пекло лез и, конечно, был заговорён — его Господь для какой-то миссии хранил, потому как из сплошного огня всегда выходил он невредимым и ничего уж не боялся, полагая, что находится под защитой неведомых и необъяснимых сил, а и подчинённых жизни в грош не ставил — в лобовые атаки посылал и сам шёл наперёд всех: идёт с перекошенным лицом прямо на врага, бойцы позади падают один за другим, а ему хоть бы хны, ни пули, ни осколки, ничто не задевает, словно бы он по приморскому бульвару гуляет, а вокруг одни дамы в кружевах... очень любил он рукопашную и всегда стремился первым ворваться в немецкие окопы; на поясе носил большой кавказский нож в кожаном чехле и в схватке обычно орудовал им, как уличный жиган, ежели случалось добраться до фашистской глотки, так и резал глотку с каким-то даже озверением — вот

каков был гнев лейтенанта Черемцова, в близкой схватке разящего врагов своим кавказским ножом прямо в лицо, в глаза, в шею! а комбат Савватий Силыч, майор, всегда выговаривал ему: ты себя-то, братка, не хочешь пожалеть, ладно, пусть — это же твоя печаль, а вот людей, дескать, пожалей, люди же у нас — по счёту; вот тот бойцов берёг, Савватий Силыч-то: разведает всегда сначала, прикинет, даже и лошади бывали целы... а снарядов не хватало, семь только снарядов в сутки дозволялось, тут не до укрытий, бить при такой экономии можно лишь прямой наводкой, так бойцы выкатят орудие прямо на дорогу и лупят по селу, где немчура пригрелась, им хорошо в тепле, они, суки, на печах сидят да тушёнку с *курицей вермахта* рубают... они ж как по расписанию, в три смены воевали: пострелял восемь часов и на боковую, если не убьют, конечно... а наши работяги — круглый день, да ночь, да на морозе, без жратвы; снабжения вообще же не было, не успели обозы подогнать, котёл-то и захлопнулся... сначала ели лошадей, которые дошли от мешанки... возьмут ветки, порубают их помельче да и в кипяток на костре — вот эту хрень лошади и ели, а то раскопают снег, найдут какие-нибудь мёрзлые травинки... одна за другой с такой еды они и погибали, а бойцам, как поделят лошадиный труп, грамм по сто мяса доставалось, полусырого, да без соли — всё в топку! а потом — к орудиям, и Савватий Силыч, майор-то, присмотревшись, и командует: прямой наводкой, так-то и так-то в Бога, в душу мать! огонь!! пару выстрелов таким макаром сделают, а немцы за это время как раз огневую точку засекают — бабах! — Савватий Силыч стоит с хронометром руках — хороший у него такой трофейный был — да смотрит, сколько заряжают, тут — бабах! — второй снаряд! и ежели не успели сами ответить, то после второго пора уж и смываться, потому как фрицы «вилку» взяли, — третий выстрел будет прицельным, вот тогда костей точно никто не соберёт... в соседних подразделениях ребят не в пример больше погибало, а Савватий Силыч хитростью своих берёг; бойцы в нём души не чаяли, но начальство не любило — давай-давай! вперёд! любой ценой! во что бы то ни стало! выстоять, б...ь, и победить! под трибунал пойдёшь, коли не возьмёшь высотку, партбилет на стол положишь... а он знай посмеивается в усы, мели, дескать, Емеля, твоя неделя... да хоть обосрись, сам знаю, как дело сделать, а мальчишек убережь... это человек был... а погиб нелепо: бойцы уже зиму пережили, те, кто пережил, иные же не дождались зелёных веток по весне, вот тогда Савватий Силыч и попался: после боя сготовил ему ротный поварёнок *волховской баланды*, на ней тогда только и держались, брали кислицу с пригорков или щавель, если повезёт, добавляли коры с лиственных деревьев и щепоть сухарных крошек, варили всё это дело на костре и употребляли, а ещё, бывало, пшено какое с самолётов скинут, тоже дело... только не всё иной раз долетало, то к врагу снесёт, а то в болото... мешки бумажные, или рвутся о сучья, или в воду попадают, выгребай потом вперемешку всё подряд — пшено, махорку, сухари, вот так и жрали это месиво да ещё сэкономили, расходовали понемножку, как кончится — снова на кору; в тех лесах все деревья голые стояли, разве что хвойные не трогали,

и офицеры, к слову, ели общее, не было там офицерских пайков или иных каких-то привилегий; ну, так вот, про комбата: вынес ему поварёнок хлебово, а он в землянке есть не захотел, хоть и просили его укрыться хоть на обеденное время, сел на кочке возле ели, в руках горячий котелок и именная ложка, которую он носил за голенищем, только ложку умакнул — на той стороне миномёт заухал... как же они ухали! такой мерзкий звук, и описать нельзя! рвануло где-то рядом, бойцы посыпались, а майора Савватия Силыча прямо осколком как раз и пригвоздило... в глаз попал ему осколок, миг — и нет комбата! а котелок с баландой на галифе ему упал... так жалко было супа!.. но тогда, зимой ещё, Савватий Силыч был живой и относительно здоровый, потому как хоть и прошло месяца два, может быть, от силы с тех пор, как началась Любанская операция, а бойцы уже болели от слабости и недоедания, зубы шатались, дёсны кровоточили, да ничего, воевали, как герои, а под Новый год комбат вызвал взводного, Булата, и ещё был там у них один якут, Савелий Иванов, потомственный охотник, который чувствовал себя в заснеженном лесу, как дома, — вызвал и отправил в соседнее сельцо поразведать кое-что, приказав прихватить по возможности какого-нибудь языка, и они двинулись по первопутку; зайдя в сельцо, вычислили штаб, прокрались потихоньку, Черемцов зарезал часового... глянули в окошки: три офицера наряжали ёлку, вешали на неё стреляные гильзы; Черемцов пальцем показал кого — кому, вошли, тихо сделали ножами двух ближайших, а третьему дали по зубам, оглушили, тряпку в рот и на зады... слышат — музыка, но не очень близко, решили подойти, опять прокрались и опять глянули в окошки: вечеринка, Новый год встречают! мы тут, понимаешь, хрен последний доедаем, а они, суки, шоколады трескают! а и бабы же при них, да видно, что бабы — не Гретхены, а наши! свои бабы, деревенские, и ещё девочка-подросток... шампанское пьют! глянул Булат на лейтенанта, а того аж перекосило, затрясся, зубами заскрипел и гранату вынимает, Булат ему рукой показывает: нет! нет! нельзя!! а тот даже и не смотрит, взял гранату, чеку вырвал и — в окно! шарах! ни тени сожаления не было в лице летёхи, как будто даже взбодрившегося на возвратном пути, хотя с чего было бодриться голодному, замерзшему и измученному человеку? — так воевали они до февраля, когда мороз по ночам стоял даже и под сорок, а на головах у многих всё так и оставались пилотки, кто разжился треухом, валенками или ватником, повысил свои шансы в пользу жизни, хоть и валенки уж не могли спасти, когда в твою сторону летели пули, крупнокалиберные снаряды с окраины близлежащей деревушки да фугасы с неба... многие подразделения были рассеяны огнём противника и однажды одной недоброй памяти февральской ночью Булат оказался во вражеском тылу с маленькой группкой бойцов под началом Черемцова, — их отрезали в бою, и теперь следовало пробиваться, потому как два десятка человек не составляло труда просто подавить даже миномётным огнём... боеприпасов у взводного почти не оставалось, еды не было вообще, и лейтенант послал Булата в паре с рядовым Ламзаки — он был грек из маленькой деревушки под Тирасполем — в сельцо на взгорке, километрах в пяти от их

расположения: надо было сыскать хоть что-то из съестного, и Булат с Ламзаки пошли лесом, к ночи выйдя на окраину; здесь постучались в первый дом, и никто им не открыл, может, побоялись, а может, дом был просто брошен, пошли дальше и увидели в одном дворе залубеневшие от мороза холщовые портки, болтавшиеся на бельевой верёвке, как кусок фанеры, — зашли с огорода и тихонько стукнули в окно, понимая, что рискуют, впрочем, в таких халупах немцы обычно не селились... занавеска отодвинулась, и в окне показался сморщенный старик... сельцо было свободно, небольшой вражеский отряд стоял тут, но недели две назад снялся и ушёл; старик сам еле выживал, однако же дал краюху хлеба, с десятков картошин, задубевших на морозе до состояния камней и полмешка муки, серой да сырой, кряхтя, слазил в какие-то сусеки и достал три сморщенные луковицы; у Булата были деньги, старик с удовольствием их взял, хотя и непонятно было, где он намерен тратить их; в сенцах висела на ржавом гвозде засаленная телогрейка, Булат вопросительно глянул на хозяина, и тот со вздохом снял телогрейку и отдал ему... товарищ Булата был экипирован много хуже: пилотка, жалкая шинелишка и поверх неё нечто наподобие жилетки, сделанной из трофейной шинели, снятой с убитого солдата «Голубой дивизии» - такие жилетки из испанских, но больше, конечно, из немецких шинелей многие носили в волховских лесах: разденут мёртвого, сорвут погоны, нашивки, обрежут рукава и полы, вот и жилетка ради утепления, а не дай Бог замёрзнешь да простудишься или того хуже — обморозишься, потому как обмороженный считался дезертиром со всеми вытекающими, — ты пальцы обморозил, стало быть, уж не боец, тебя следует в санбат, ты же не можешь воевать, а коли не можешь воевать, не имея боевых ранений, значит, уклонился, и разговор с тобой теперь такой короткий, как коротка бывает память у убитого; так именно случилось и с Ламзаки: мороз ночью придавил, пять километров туда да пять обратно, а сапоги бойца просили каши, вот он пока дошёл, пальцы на ногах и поморозил, а Булата миновало, потому как он с осени подкладывал в свои худые сапоги хвойную труху и тем только и спасался... вот Ламзаки явился в отряд с помороженными пальцами да скрывал до срока, опасаясь наказания, так прошло время, и он даже воевал, не говоря ни слова до тех пор, пока не появился запах, ведь пальцы стали гнить, а боец с трудом ходил, и тогда уж Черемцов, прознав, взбесился и повёл Ламзаки прочь, куда-то за пригорок; дело было вечером, и Булат видел, как лейтенант забрал Ламзаки, пошёл следом, а идти было тяжело, потому что в сумерках Булат очень плохо видел, — куриная слепота многих в отряде уже одолевала, — и вот глядит Булат: два силуэта пробираются через бурелом, их видно только на фоне дальних заснеженных холмов; взводный завёл бойца в кусты, поднял пистолет, оставив рукоятку в сторону, и... не надо, не надо, — залепетал Ламзаки, — не надо товарищ лейтенант! — сообщаю тебе мой приговор, — бесстрастно сказал взводный, — за дезертирство с поля боя назначено любому бойцу Красной Армии немедленное расстреляние и сей приговор привожу я во исполнение немедленно! — я же не виноват, товарищ лейтенант, — ещё

успел воскликнуть приговорённый, — одёжки же нам не довели! — но Черемцов быстро нажал на курок и заткнул пулей рот дерзкому солдату... ты что творишь? — дрожа от бешенства, сказал Булат, выйдя навстречу Черемцову, — у тебя людей много? — без надобности мне такие люди, — злобно ответил лейтенант, — это не люди, это дезертиры... но тут Булат схватил его и прошипел: ответишь, сука... ты ответишь! — они сцепились и упали в снег, — Булат даже не почувствовал удара и не понял, когда и как взводный умудрился сунуть ему кулаком под бровь... потом они сидели у маленького костерка, и Булат смотрел опухшим глазом в лицо лейтенанта Черемцова: оно было бесстрастно и беззлобно, ни тени ненависти или тем более отчаяния не видел он, — походя, между прочим, убил живого человека, который мучился, но воевал, и даже слабости не проявил... и лежит теперь Ламзаки, зарывшись в снег, посреди холода и одиночества... один, один, один — и некому оплакать его, ни товарищей возле его тела, ни родителей нету, ни жены, которая и не узнает никогда, как погиб её любимый, и никого из односельчан... кончится зима, сойдёт снег и вырастет трава, а он, Ламзаки, погрузится в землю, или болото засосёт его, — так и сгинут эти беспризорные кости... пропав за понюшку табаку, пропав ни за что, просто так — без смысла, без цели, по воле свихнувшегося лейтенанта... следующим утром отряд попал в засаду, немцы загнали ребят в самые сугробы, а сугробы те под метровым слоем снега таили тонкий лёд над незамерзаемым болотом... стоило попасть на лёд, особенно с оружием, и ноги тут же проваливались в воду; отряд отбивался, распластавшись в ложбинах среди чахлых кустов; Черемцов, укрывшись за поваленную елью, вступил в дуэль с офицером, которого вызнал по фуражке; у немца в руках прыгал рыгающий *шмайссер*, у Черемцова были *пэпэша* и *стечкин* в кобуре, — немец нервничал и стрелял без разбора под широким углом, а лейтенант берёт патроны, лишь изредка постреливая и ожидая, когда у противника кончатся патроны, враг был многочислен, но рассредоточен, поэтому помощи немецкому офицеру в случае чего ждать не приходилось; Черемцов терпеливо мёрз в сугробе, ощущая, как живот и ноги медленно намокают от подступающей воды... немец расходовал патроны, пытаясь достать взводного, но тот хоронился за бревном и ждал, ждал... наконец *шмайссер* замолчал... лейтенант выругался матом, встал в полный рост и пошёл к офицеру... тот выхватил парабеллум, но даже не успел поднять его — Черемцов прострелил ему руку и быстро побежал навстречу, пока тот шарил в снегу, пытаясь найти упавший пистолет... приблизившись, взводный ударил офицера, оглушил и опрокинул - *стечкин* был у него в левой — направив ствол в лицо врага, он дёрнул курок... Черемцов всегда старался выстрелить при возможности в глаза врагу, это всегда была его персональная казнь, и Булат, наблюдая за ним иной раз, всегда отмечал, что лейтенант получает от таких актов возмездия какое-то садистическое удовольствие... он боялся взводного, зная, что ежели, не дай Бог, ему что-то померещится, то пощады не будет никому, даже и своим... а ведь Черемцов мог взять фашиста в плен, легко мог, тот был в полной его власти... но не захотел, а

захотел выстрелить в лицо... позже, когда немцы отошли, лейтенант пошёл по лесу, находя раненых врагов, молча вспарывал им глотки... боеприпасов было мало, берёг взводный боеприпасы, а от ножа ведь не убудет... вернувшись к своим, приказал Булату и якуту Иванову раздевать врагов и потрошить их ранцы, но Булат, став против командира, твёрдо сказал ему в глаза: не буду потрошить, я не мародёр! — ты что сказал!? — взъярился Черемцов, — ты что же это, приказы обсуждать надумал? да я тебя под трибунал! да я тебя и без трибунала! — выхватил пистолет и стал размахивать стволом перед лицом Булата, — жрать хочешь? а коли не хочешь, так товарищи хотят! может, тебе свитерок фашистский не нужен? носки шерстяные не нужны? мы тут загибаемся, а он мне характер хочет показать! интеллигенция, слюняй, чистоплюй, мать твою!! вые... и высушу! я тебе устрою кровавую баню! — голос его перешёл на визг, глаза побелели, и фигура затряслась, — продолжая размахивать руками, он орал, дёргал пистолетом и вдруг, вскинувшись, выстрелил в сторону Булата! пуля взвизгнула над ухом, Булат вытянулся в струнку, быстро поднял ладонь к виску и сказал: есть, товарищ лейтенант! — трупов в снегу было много, и богатые трофеи достались всем бойцам: жратва, шнапс, тонкие немецкие сигареты, оружие без счёта; особо порадовались тёплым вещам и добротным сапогам, всё разделили, как могли, сели в укрытии за поваленными елками, поели, а потом пошли братишек прибирать... семеро погибли... сложили их рядом на взгорке, забрали оружие, медали, документы... и побрели... через неделю наткнулись на своё подразделение, и уж как радовался Савватий Силыч! нашлись, нашлись ребяташки! написал представления к наградам — без исключения на всех — и отправил гонца в штаб дивизии; награды эти явились лишь весной, и, как доехали до цели, только Богу ведомо, потому как снег к тому времени растаял, болота потекли ручьями, и такие моря разливанные по всем лесам стояли, что передвигаться стало невозможно; с наградами прибыли два парня из *дивизионки*, газета была такая дивизионная — «Отвага», одного парня звали Ваня, а его товарища — Муса; Ваня был старшим инструктором политотдела, а Муса — корреспондентом, они передали ротному награды и стали беседовать с бойцами Черемцова, которые зимой совершили боевой рейд по вражеским тылам, потом всех фотографировали, и Муса упросил ребят побриться, что они не очень-то любили, особенно на холоде; Булат с Мусой очень подружился, это был такой рассудительный солдат, который, разложив по полкам дело, внушал всем несокрушимый оптимизм, он был мягкий и решительный, осторожный и дерзкий, весёлый и в то же время грустный, к тому же он писал стихи и Булату его строки очень даже показались... разве знал Булат, что всего-то через пару месяцев, в ночь на двадцать пятое июня, когда истерзанные остатки окруженцев будут прорываться из котла, новый друг его попадёт в плен и даст согласие вступить в немецкий легион «Идель-Урал», объединявший представителей народов Волги, захваченных в разное время на полях сражений, а в сорок шестом МГБ обвинит Мусу в измене и впишет его имя в позорный список предателей и отщепенцев? — так испачкали

память о Мусе, который почти десять лет был вне закона, и лишь в пятьдесят третьем стало ясно, что никакой он не предатель: в пражском архиве был тогда обнаружен документ, переведённый, очевидно, из архива Дрездена и считавшийся погибшим вследствие бомбардировок, — документ содержал решение Второго Имперского суда Третьего Рейха от 12 февраля 1944 года за номером 36/44 по делу *Kurmaschew und 10 andere*; из документа следовало, что некий Курмашев сколотил в «Идель-Урале» подпольный комитет, руководивший сопротивлением и готовивший восстание легионеров, втёршись в доверие к командованию, подпольщики формировали боевые группы, вели пропаганду внутри подразделений ради возвращения солдат к своим и печатали листовки в типографии газеты легиона; один из подпольщиков, работавший диктором на радиостанции «Венета», вещавшей на языках народов СССР, был даже вхож к Геббельсу, — он добывал благодаря доступу к радио информацию о состоянии фронтов, что использовалось впоследствии в листовках; именно они, эти листовки, погубили всех: контрразведка вышла на подпольщиков благодаря дефектной типографской литературе; полгода длилось следствие, до середины зимы сорок четвёртого, и за это время Муса, заключённый в Моабитскую тюрьму, успел написать несколько стихотворных тетрадей, всплывших после войны разными путями в разных странах... 25 августа 1944 года, в 12 часов 6 минут по берлинскому времени на эшафот взошёл Гайнан Курмашев, следом за ним гильотинировали остальных... а жизнь тем временем двигалась велением судьбы, и рок выворачивал её, заставляя двоиться и троиться, и она была такой: в ночь с двадцать четвёртого на двадцать пятое июня после получения приказа о прорыве, который давно ждали и стояли насмерть, потому что приказа не было и не было, — Ставка медлила и не хотела дать приказ, а люди выживали из последних сил, — боеприпасы кончились, еду больше не приносили самолёты, а одного бойца из пятьдесят второй дивизии даже расстреляли за каннибализм, уж не пожалели одного патрона, другие же просто мёрли, как мухи, многие от голода, иные от ран, потому что медикаментов тоже не было; на бинты рвали грязное исподнее, ватой служил мох с ёлочных стволов, не имели даже йода, раны сшивали нитками, проваренными в котелках... и вот дали наконец сигнал к прорыву: коридор был метров триста, простреливался вдоль и поперёк, со всех сторон била артиллерия, с жутким уханьем грохотали миномёты, и вся просека светилась в темноте от пересекающихся линий трассеров, в очередь пикировали на измученных бойцов зловещие юнкерсы и мессершмиты, ревущие на бреющем полёте; Муса с Булатом короткими перебежками двигались вперёд, закатываясь время от времени в смердящие воронки, а пули роями летали над ними, ввинчиваясь с жутким скрежетом в горячий воздух, головы поднять было невозможно, приходилось ползти по грязи, по холодным телам мертвецов... клубилась вонь, жгущая глаза... смрад от разлагающихся тел перемешивался с химическими запахами взорвавшихся снарядов, чёрный дым, подымавшийся от техники, смешивался с бело-жёлтым от упавших бомб, — Мусу рвало, Булат выхаркивал обожжённые лёгкие, они ползли,

пряча головы во вспаханной земле, оба были ранены... сзади надсадно ревели два советских танка, которые уже не огрызались ни снарядами, ни пулями, потому что не было у них ни снарядов, ни пуль, а только немного бензина оставалось, и они шли, воя, в клубах сизого выхлопа, гусеницы их буксовали в человеческих телах, потому что трупы в коридоре лежали друг на друге слоями... танки юзили по зловонной жиже, тонули в ней, и, чтобы идти дальше, кто-то из танкистов должен был выскочить наружу и стальным крюком под градом пуль вычистить из траков куски человеческого мяса... они вышли... Муса и Булат вышли из этого ада, прорвались к своим, и их долго потом выхаживали в госпиталях; Булата хотели комиссовать, у него была раздроблена левая нога, но он потребовал дать ему направление на переформировку и ещё доказывал потом комиссиям, что собранная нога — лучше прежней, ну его и отправили в сельцо Дергачи, под провинциальный Саратов, а Муса тоже воевал и дошёл до Праги... или до Белграда... а то даже до Берлина, вернулся героем, писал стихи, издал несколько сборников, но в пятидесятых хотел опубликовать в «Дружбе народов» свою поэму о трагической гибели Второй Ударной, и вот тут судьба отвернулась от него: сначала его вызвали — куда обычно вызывают в подобных ситуациях — и настоятельно рекомендовали не афишировать воспоминаний, — вы что же, — сказали ему зловещим шёпотом, — хотите воспеть власовцев? людей, предавших Родину? воткнувших нож в спину партии... недодушили мы вас, суки, недовешали... мало виселиц после войны вам ставили... ну, потом — обыск, изъятие, как водится, рукописей, писем, дневников и строгое предупреждение: смотри, власовский выкормыш, тока пикни, вмиг шею-то свернём... следом исключили его из Союза писателей, рассыпали набор нового сборника, пропесочили на собрании казанских литераторов, спасибо ещё не орали не площадях *расстрелять как собаку!* — что было делать? с работы попросили... гнали отовсюду, а люди и не очень-то ещё верили, что в пятьдесят третьем закончилась эпоха, осторожничали, руки иной раз не давали, ну, он и уехал в родное Мустафино, а потом, уже много лет спустя, когда Евтушенко делал антологию, о нём как раз и вспомнили: да, был, дескать, такой малоизвестный татарский поэт, большие надежды подавал, куда сгинул — одному Богу ведомо, или Аллаху, или компетентным органам... словом, нет человека, и следа его на земле тоже нет... а что отделяло его от этого пути? может быть, приезд из редакции дивизионной газеты в расположение Савватия Силыча? вот не приехал бы он, а пошёл другой дорогой, и куда б тогда пришёл?.. или даже так: прорыв, грохочут орудия, режут сирены самолётов и отовсюду сыплются осколки... крики, стоны раненых, — Муса неосторожно подымает голову и - звука пули, впившейся в его тело, никто даже не услышал, ведь кругом стоял грохот! пуля нашла его! он падает и - всё! он причислен к лику святых, сложивших головы свои за свободу Родины! идут годы, десятилетия, и Муса врастает в землю, кости его врастают в землю... не было на его теле ни смертного медальона, ни наград, по которым можно было бы когда-нибудь узнать его, ни даже ложки солдатской с выбитой на ней фамилией... он один из тысяч —

неизвестный герой, бесфамильный солдат, ставший почвой, болотом, травой... и памяти о нём — всего ничего: только несколько строк, засевших намертво в голове у Булата: *слезинки не выронил, понимая: дороги отрезаны, слышал я: беспощадная смерть считала секунды моего бытия...* эти строки были живы лишь до тех пор, пока жив был Булат, а когда пришёл его черёд, погибли и они... вот что такое рок — *свой путь* — тот именно путь, который назначила тебе судьба и с которого ты не можешь свернуть, как бы этого ни хотел, потому и Мусе не дан был второй путь и тем более третий, а дан был единственно возможный для него первый путь, который он и прошёл, испытал плен, арест, пытки, Моабитскую тюрьму и окончив свою жизнь на гильотине, но и это не было ещё финалом, потому что ему предстояла посмертная судьба: клеймо предателя и позорное забвение, а потом — воскресение, звезда Героя Советского Союза и звание лауреата Ленинской премии... полное именование Мусы было — Муса Мустафович Залилов, нынче известен он как Муса Джалиль, только ничего этого Булат тогда не знал да и не мог знать, ведь будущее ещё не наступило, хотя и было настоящим, потому что настоящее как раз и есть проекция будущего, для которого настоящее — уже прошлое, и так как времени не существует, нам понятно: причинно-следственные связи *могут работать могут не работать*, и в зеркальности отображений — много смысла: дети отражаются в родителях и получают иной раз родительские имена, мы и есть проекции наших, может быть, ещё не родившихся детей, потому и видим в них себя двадцатилетних, когда они подрастают и достигают своих двадцати... время — это не линия, а кольцо: так нагляднее можно представить пустоту, обозначаемую словом *ничто*, которое символизирует только смену биологических циклов и больше ничего, — все эти нечто, ничто, ничего, nihil — суть только отсутствие времени, бесконечная космическая бесконечность, горизонтальная восьмёрка, лента Мёбиуса... но Булат этого не знал, лишь предчувствуя небытие и явственно ощущая, что барахтается в пустоте; три дня несколько солдат взвода Черемцова сражались из последних сил, и в конце концов все ушли в болото — навсегда, остались лишь взводный и Булат, который был легко ранен, а лейтенанту всё было нипочём: в каких только боях не приходилось участвовать ему — ни царапины не получил, известное дело — заговорённый, стойкий оловянный солдатик, вечный боец и вечный защитник Родины; они шли по направленью к коридору, точно зная, что приказ о прорыве наконец дан, только сил не было уже: около двух недель они не ели, с трудом несли оружие, сапоги у них были разбиты вдребезги и заледеневшие ноги мокли несколько суток в болотной воде, они потеряли направление, потому что командирский компас лейтенанта многожды роняли в подёрнутую ряской жижу... у него был прекрасный «андриановский», с фосфорным циферблатом; и вот утром они вышли на поляну, обнаружив за разрытой кочкой мёртвого майора в хороших сапогах... сапоги были новые, яловые, может быть, трофейные, снятые с убитого немца, — Черемцов подошёл и ухватил ногу мертвеца... сапог с хлюпающим звуком сполз, обнажив розовую кость; Черемцов сморщился и быстро вытряхнул из

голенища кишащую белыми червями плоть, — Булат, увидев это, просто заплакал, взводный же, не обращая на него внимания, снял второй сапог и стал промывать его внутри болотной водой, — Булат в ужасе смотрел и плакал... лейтенант, закончив омовение, бросил ему сапоги, повелительно сказав: переобувайся! — нет! — крикнул в ответ ему Булат... это приказ, товарищ рядовой, — с угрозой в голосе прошипел тот и вынул пистолет; Булат дрожащими руками скинул свою обувь и, содрогаясь, стал натягивать чужую... смрад от сапог шёл невыносимый... лейтенант внимательно смотрел, как подчинённый справляется с задачей, а Булат всё плакал... наконец они встали и пошли, с трудом передвигая ноги... так шли они ещё два дня, а может, и не шли, а просто крутились по кругам, не понимая места... повсюду слышалась стрельба и почти постоянное гуденье миномётов; как-то днём мина упала совсем рядом и разорвалась за ближним деревом; осколки разлетелись веером, изрешетив Булату ногу и порезав сапог, снятый недавно с мертвеца, — всего ничего и поносил хорошую обувь незадачливый солдат, а взводный опять остался цел... делать нечего, кое-как перевязав и стянув ногу ещё не съеденным ремнём, взвалил лейтенант Булата на спину и потащил вперёд... долго ли, коротко ли, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается, подошли они к поляне и упали на влажную траву, — Черемцов совсем выдохся, ведь Булат хоть и был словно пушинка от недоедания, а всё ж имел какой-то вес; судя по артиллерийской канонаде, коридор был где-то рядом, со всех сторон несло гарью, дымом, в разных местах горел, потрескивая, лес... взводный уложил Булата в мох, а сам уселся на краю поляны, прислонив натруженную спину к дереву... так они дремали с полчаса; вдруг в болоте что-то ухнуло; Булат, очнувшись, поднялся на локтях: под деревом сидел склонившийся на сторону командир и с изумлением смотрел на свою оторванную ногу, отлетевшую несколько вперёд... Булат дико закричал, но вместо крика из горла его вырвался лишь хрип... взводный сидел, а на коленях у него, частично сползши в мох, лежали скользкие внутренности, выпавшие из распоротого живота, и Булата поразил их голубовато-бурый цвет... он пополз к раненому лейтенанту, скрипя зубами и превозмогая боль, — Черемцов всё глядел вниз и вдруг угловатыми движениями, словно деревянный человечек, ухватил змеистые свои кишки и стал судорожно укладывать их в распоротый живот... Булат подполз к нему и заглянул в его чёрные зрачки... лейтенант едва заметно покачал головой, как будто что-то отрицая, и показал глазами на свой влажный пистолет... нет, — сказал Булат... — давай, браток, — едва слышно прошелестел Черемцов, — ... очень больно, очень... — нет, нет! — повторил Булат и пополз прочь... спустя пару минут совсем рядом за спиной он услышал взрыв, — сосна, под которой сидел взводный, вспыхнула факелом и поглотила его тонкую фигурку... в последний миг обнажённая женщина явилась перед ним, она стояла посреди огня и пристально глядела на него... так вот ты какая, — ещё успел подумать Черемцов, — ... и вовсе не страшная старуха с косой... Булат же ползал по лесу ещё день, а ночь провёл в липком забытии на чьих-то трупах, попав снова в заболоченное место... он лёг на них, потому что вокруг

была вода... утром снова полз, не понимая уже куда и зачем, и скоро его окружили немецкие солдаты: рус, сдавайсь, услышал он сквозь меркнувшее сознание, и ему было уже всё равно, гибель или плен, потому что он больше не хотел жить... но перед колючкой сборно-пересыльного лагеря при Сенной Керести он пришёл в себя в той незначительной хотя бы степени, чтобы понимать необходимость жизни; здесь давали раз в день миску баланды с плавающими поверху опилками и кусок липкой массы под названием *эрзац-брот*, которую и хлебом-то назвать было невозможно, но перед пленом он месяцами голодал и должен был по всем раскладам давно уже отдать Богу душу, — в лагере свеча его жизни продолжала тлеть, и он уже цеплялся за свет, хотя бы этот свет и был лишь предвестием мрака, то есть сумерками, да такими тёмными, что он уж и не видел ничего, а на деле-то была знакомая куриная слепота, спутница дистрофиков; он существовал, как призрак, но раны его постепенно заживали, и теперь он боялся только тифа, который всегда неизбежно являлся там, где было много грязных, ослабленных голодом людей, но и тиф миновал, — полуживой доходяга вывернулся и из этих страшных лап, и никогда, никогда потом после Победы не рассказывал он ни детям, ни внукам о своей войне, потому что пыткой было даже воспоминание о ней, и до самой смерти болели у него не старые раны, а душа — искалеченная, измученная злобой душа, и бессильное отчаяние мучило оттого, что он — не солдат, не герой, а лишь один из сотен тысяч предателей — потому только, что Второй ударной командовал Власов... но не он предал и не товарищи его — они были герои-смертники, и это их предали, оставив без оружия, боеприпасов и продовольствия, заткнув ими коридор ада и бросив на произвол судьбы... в новые времена о Второй ударной молчали, и герой наш молчал, до признания своего подвига не дожил и тихо ушёл, проклиная рок, судьбу и жестокое время, в которое довелось ему явиться на свет...